



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

в ы х о д и т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а

с о д е р ж а н и е

5/2025 май

- 3 Геннадий Русаков. **И восемь лет кадетствовал в Самаре.**
Стихи
- 10 Александр Давыдов. **Игра без правил, или Опыт
превентивной самоизоляции.** *Поэма в 16 бифуркациях
или, проще сказать, развилках*
- 69 Лена Ванеян. **смотри, как сверкает сия колесница.** *Стихи*
- 74 Наталья Иванова. **Под чугунной шинелью.**
Фарс-фантазия на документах
- 96 Кирилл Корчагин. **Четвёртый год.** *Стихи*
- 103 Максим Чертанов. **Святая Аполлония.** *Рассказ*
- 121 Зоя Ященко. **Фотография.** *Стихи*
- 123 Юрий Петкевич. **Успокоение от любви.** *Рассказ*
- 128 Екатерина Шевченко. **День почитания облаков.**
Рассказы

а р х и в

- 136 Леонид Мартынов. **Я был упрям в намереньях своих.**
Стихи. Публикация Л.В. Суховой

п и с ь м а

- 143 «Слово, сказанное вовремя, и есть глоток свободы...».
*Переписка Григория Бакланова и Юрия Гончарова.
Вступительная статья, публикация и примечания
Дмитрия Дьякова*

м е м у а р ы

- 172 Наталья Костюкова (Чуковская). **Годы войны**

н е п р о ш е д ш е е

- 184 Геннадий Евграфов. **«Всего и надо, что взглядеться...».**
Из воспоминаний

э с с е

- 204 Сергей Боровиков. **Запятая-30.** *В русском жанре-92*
- 209 Алексей Чипига. **Осенний этюд в поисках родного**

п е р е у ч е т

- 212** Борис Кутенков. Крутятся мельничные жернова.
Поэтическая критика в журналах (начало 2025 года)

н а б л ю д а т е л ь

р е ц е н з и и

- 216** Александр Марков, Оксана Штайн. — Илья Кабаков, Иосиф Бакштейн, Михаил Эпштейн. Триалог. *Импровизации на свободные темы*
- 217** Дарья Фомина. — Майя Кучерская. Случай в маскарade: Несвяточные рассказы
- 219** Шевкет Кешфидинов. — Анна Баснер. Парадокс Тесея
- 221** Екатерина Солнцева. — Александра Малыгина. Синебровый момот
- 222** Римма Нужденко. — Светлана Волкова. Великая любовь Оленьки Дьяковой
- 224** Майя Фолкинштейн. — Мирон Гинкас. Сквозь колючую проволоку
- 225** Ярослав Соколов — Яков Клоц. Тамиздат: Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны
- 226** Евгения Щеглова. — Лариса Найдич. Прогулки ранние и поздние
- 228** Нонна Музаффар. — Хорхе Каррион. Вымышленные библиотеки

в ы с т а в к а

- 229** Яна Любарская. Елена Третьякова. Непионерские лагеря. Московский Еврейский Общинный культурный центр (Дом). Январь — февраль 2025 года

к о н ф е р е н ц и я

- 231** Наталья Стеркина. «Фантастическое в литературе и культуре: теория вымышленных пространств». Международная научная конференция. 4–6 марта 2025 года. Институт мировой литературы им. А.М. Горького (ИМЛИ)

с п е к т а к л ь

- 233** Ирина Лобацкая. «Идиот». Режиссер Владислав Наставшев. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова (Москва)

- 235** *скоропись ольги балла*

Наталья Костюкова (Чуковская)

Годы войны

После заключения с Германией пакта Молотова — Риббентропа о ненападении угроза вступления нашей страны в войну отодвинулась, и, хотя все понимали, что она не миновала, никто не подозревал, что самое страшное наступит так скоро.

В июне 1941-го «расклад» в семье Чуковских был такой: Корней Иванович и Мария Борисовна были в Переделкине, Борис Корнеевич — в Москве (или на военных сборах, или уже вернулся). Его сын Женя (3 с половиной года) тоже был в столице, возможно — на даче в Переделкине. Лидии Корнеевне 21 июня сделали операцию в Москве — удалили зоб щитовидной железы. Ее дочь Люша (без малого 10 лет) с няней Идой тоже, кажется, были в столице, возможно — в Переделкине. Семья моего папы жила в Ленинграде.

Примерно 17–19 июня переехали из Ленинграда на дачу в Лугу (почти 150 километров к югу от Ленинграда) и мы. Мы — это папа Николай Корнеевич Чуковский, мама Марина Николаевна, мой брат Гуля (Николай, 8 лет) и я — Тата (почти 16 лет). Весна была поздняя, дождливая. Снятая родителями дача (точнее — недостроенный бревенчатый дом) стояла на краю городка, у самого леса. 21-го, под вечер, мы с мамой вышли пройтись по лесу, собрать шишек для самовара. Лес был усеян грибами — сморчками. «Это к войне, — сказала мама. — В 1914 году также было много грибов». Красный закат тоже, по ее словам, предвещал войну, прямо завтра. Так и вышло.

Утро воскресенья 22 июня выдалось солнечное. Пошли на озеро, на импровизированный пляж. Купаться было холодно. Вдруг по берегу среди немногих отдыхающих пополз слух — война началась! Мы с родителями быстро отправились домой, а там уже не переставая говорит тарелка-репродуктор: передают речь Молотова о начале войны с Германией.

Об оккупации никто и не думал (ведь «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее»), но боялись бомбежек. По опыту Испании, Англии, Голландии знали, что Гитлер никого не щадит. Поэтому было решено оставить нас с мамой в Луге и переждать до несомненной скорой Победы. Отцу надо было в военкомат, и они с матерью утром 23 июня отправились в Ленинград, чтобы привезти продукты и теплые вещи (на всякий случай!). Мы с братом остались одни на 2–3 дня, но уже в эти сутки немцы бомбили Лугу и обстреливали вокзал. И я, гуляя с подружкой вдоль путей, попала под обстрел самолетами-штурмовиками. 24 июня местные лужские власти потребовали, чтобы у каждого дома были вырыты защитные щели в земле глубиной 2 метра. Пришлось рыть, однако до двухметровой глубины я так и не дорыла.

Об авторе | Наталья Николаевна Костюкова (Чуковская) — микробиолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России.

Вскоре вернулись родители с совсем другими планами. Стало ясно, что фашисты передвигаются по нашей территории очень быстро, надо скорее уезжать в Ленинград, который несомненно будут оборонять не так, как маленькую Лугу. 27 июня мы уехали из Луги последним поездом, идущим по расписанию. Действительно, в районе Луги вскоре развернулись оборонительные бои (знаменитый Лужский рубеж), но 24 августа немцы вошли в нее и были выбиты только 12 февраля 1944 года. К этому времени из 30 тысяч жителей в городке осталось около четырех тысяч.

В Ленинграде папу ждала повестка в военкомат.

30 июня папа в форме морского интенданта 3-го ранга (что, кажется, соответствовало званию старшего лейтенанта) уехал к месту назначения в Эстонию, в Палдиски. Мама пошла его провожать на Балтийский вокзал, а я, лежа на подоконнике, смотрела из окна, как он, с огромным чемоданом, завернул за угол улицы Жуковского. Чемодан имел «заграничный» вид, хотя был картонным, обтянутым кожзаменителем. Папа привез его из недавней командировки в только что присоединенную к СССР Эстонию. Этот чемодан, как писал потом папа, «разорвался в клочья», когда он выбирался из оккупируемой Эстонии в Ленинград.

Первого июля, никого не застав на месте 10-й авиабригады Краснознаменного Балтийского флота, на случайных машинах, порой пешком и с пистолетом в руке, с кучкой уцелевших работников авиабригады добрался до Таллина. Немцы шли за ними по пятам. Авиабригада потеряла все свои самолеты и летный состав. В Таллине была полная растерянность и неизвестность. Порт со стоящими на рейде кораблями постоянно бомбили. Николай Корнеевич разыскал штаб флота, где встретил Всеволода Витальевича Вишневого. Они поняли, что надо уходить. Немцы начали окружать город. Вишневский ушел морем — поход уцелевших кораблей из Таллина в Кронштадт многократно описан, папа считал его «одним из самых героических и трагических событий» войны. Сам Николай Корнеевич с группами матросов и офицеров (тогда — «краснофлотцев» и «командиров») пробрался по суше, кишачей и обстреливаемой врагом, до Ораниенбаума, а оттуда — в Ленинград. Один раз ехал в... нефтяной цистерне! 19 июля, чудом вырвавшись из ада, оказался в нашей квартире (мы с мамой и братом уже из Ленинграда уехали).

Всю осень 1941 года Николай Корнеевич находился в постоянном движении, перелетая, переплывая, переезжая из части в часть морской авиации вокруг Ленинграда, собирая сведения о боях и их участниках. Не раз, перелетая двойную линию фронта, попадал под «бешеный зенитный и пулеметный огонь», чудом оставался жив при обстреле катеров в Финском заливе, нередко спал под открытым небом. Должность папы называлась «инструктор политотдела авиации», хотя фактически он был военным корреспондентом фронтовых газет. В те времена военкоры были членами личного состава войск, имели звания командиров, были вооружены и нередко участвовали в боевых действиях. Писали они о героизме наших военных и низости и трусости врага. Это была правда. Но не вся. Судить их мы не смеем. Более того, глядя на происходившее с сегодняшних позиций, думаю, что в то время подобные публикации были самым правильным делом (даже если бы у них имелись демократические свободы) — ведь паники в тогдашнем обществе хватало, это я помню.

Попав как-то в очередной раз в начале сентября в Ленинград, Николай Корнеевич восьмого числа навестил своего друга — писателя Леонида Рахманова, жившего на Васильевском острове. Засиделся, возвратиться домой на улицу Маяковского через Неву было уже невозможно — развели мосты. В этот день произошла первая массированная бомбежка Ленинграда. Вечером 8 сентября бомба весом в одну тонну попала в соседний двухэтажный флигель (на углу улиц

Жуковского и Маяковского), полностью его разрушив, погибло много людей (там было общежитие). Часть нашего дома, ближе к флигелю, также обрушилась полностью, а у той части, где на третьем этаже была наша квартира, пострадала передняя стена. Лестница и, следовательно, вход в квартиру, уцелели. Потом туда еще не раз попадали бомбы и снаряды, но эта лестница и тыльная сторона дома целы до сих пор. Они встроены в новое здание — школу. Зайдя в нее после войны, я увидела лестницу и окна нашей кухни и ванной, какими я их помнила в детстве. Этот четырехэтажный дом был построен в 60-е годы XIX века.

На другой день после бомбежки Николай Корнеевич с опаской вошел в квартиру вместе с Иникой — сестрой моей мамы. Они взяли все, что было из запасов еды, а также спасли наиболее ценные письма, книги и фотографии. Все это папа таскал с собой, затем переправил нам в эвакуацию в Краснокамск Пермской области бандеролями, когда бывал за пределами блокады. Иника и ее мама Мария Николаевна Рейнке (бабенька Николаевна) оставались в окруженном Ленинграде и испытывали на себе все ужасы блокадной зимы. В октябре-декабре 1941 года Николай Корнеевич беспрерывно ездит (летает, плавает) по частям морской авиации из Устюжны Вологодской области, где располагалась редакция его газеты. В начале января 1942-го ему удалось передать «съедобную» посылочку Инике и бабеньке с одним летчиком из Устюжны, а 10 января он оказался в Ленинграде и сам. Именно тогда, вернувшись в Ленинград, потрясенный, он написал стихотворение «Что желали, что любили — / Запорошило снежком, / В этой каменной могиле / Непременно мы умрем...». Делясь с Иникой и бабенькой блокадным, но все же офицерским пайком, он поставил их на ноги, а в конце марта 1942 года отправил их по Ладожскому льду к нам в Краснокамск. Как-то купил на рынке 400 граммов хлеба за 200 рублей и был счастлив. Для сравнения — врач получал 300 рублей в месяц. Государственная цена 1 килограмма хлеба по карточкам составляла 1 рубль.

Однажды в феврале папа решил забраться в нашу квартиру, чтобы попытаться извлечь из нее какие-нибудь книги из своей богатой библиотеки. Вошел по уцелевшему входу и вдруг увидел в углу мужскую фигуру с занесенным топором. Он выхватил пистолет, но фигура упала ему в ноги и стала молить о пощаде. Это была соседка (в брюках), она пришла, чтобы нарубить на дрова остатки нашей мебели (старинной, красного дерева — гордости Марины Николаевны) и истопить печурку; книги к этому времени уже были все сожжены.

Всю весну 1942 года Николай Корнеевич летает над двойной линией фронта из города и обратно; его постоянная база находилась теперь в Новой Ладогe вне блокады. Папа не только пишет корреспонденции, он ухитряется создавать «книжки по рассказам летчиков»; их издадут в конце 1942-го. В том же году мама писала ему из эвакуации, что к нашему лагерю писательских семей прибились и сами писатели (называть не буду — щажу потомков). Он ответил ей: «Судьба моя совсем другая. Я служу в частях, постоянно сражающихся, и я здесь нужный человек». И еще: «В такое время мужчина должен быть на фронте». Фактически он собрал материалы о поведении самых разных людей в особых, необычных (теперь бы сказали — экстремальных) обстоятельствах. Он честно отразил все увиденное в своих книгах о войне. Как-то папа сказал мне, что его главной целью было показать, почему мы все-таки победили.

В сентябре 1942 года ему удалось приехать на два дня в Пермь (тогда — Молотов) — из десяти дней отпуска восемь ушли на дорогу туда и обратно. Мы в это время жили в области — мама и брат Гуля в деревне Черной, а я работала в колхозе в деревне Даньки, где жила вместе с семьей писателя Льва Васильевича Успенского. Мимо Черной проходила железнодорожная магистраль (по ней осенью 1941-го гнали составы из вагончиков метро с эвакуированными москвичами),

но только один из многих поездов делал там остановку рано утром, да и то не доходил до Перми; нужно было совершать пересадку. Состав стоял одну минуту, платформы не было, народу много. В Перми мы с мамой и Гулей расселились у знакомых ленинградцев, занимавших номера в местной гостинице-семиэтажке: Марина Николаевна и Гуля, кажется, у Слонимских, а я — у Людмилы Яковлевны Путиевской (жены писателя Александра Петровича Штейна), и мы повидались с отцом. На обратном пути из Перми Николай Корнеевич был в Москве в командировке и встретился с Корнеем Ивановичем, приехавшим туда из Ташкента тоже ненадолго. Отец и сын повидались в квартире Корнея Ивановича на улице Горького (Тверской).

В декабре 1942 года, в Ленинграде, папа был переведен в так называемую оперативную группу писателей при политуправлении Балтийского флота, возглавляемую Всеволодом Вишневским. Там он поселился вместе с Львом Успенским (об их совместном житье в первую половину 1942-го оба оставили замечательные воспоминания). Они поселились в квартире, где раньше жил врач (видно, уехал), и в одном из ящиков стола увидели множество пакетиков с гомеопатическими пилюлями на сахаре. Писатели съели все пилюли, которые хорошо их поддерживали в то голодное время. При этом никаких «передозировок» от находящихся в пилюлях лекарств они не почувствовали.

Николай Корнеевич продолжает мотаться по частям, но и пишет очерки для ленинградского радио и журнала «Ленинград». В январе 1943 года наши войска частично прорвали блокаду, освободив узкую полосу земли по берегу Ладожского озера. Все шесть дней тяжелых боев папа был на месте сражения.

22 марта 1943-го мы — мама, Гуля и я — хлопотами Корнея Ивановича приехали из Перми в Москву и остались там навсегда. Папа встретил нас, но тут же умчался обратно в Ленинград.

Летом 1943 года он перешел из оперативной группы, как сам писал, «в большую газету». Ему опять удалось приехать в Москву. Николай Корнеевич был в морской форме старшего лейтенанта («береговой обороны», как он мне сказал); погоны его были золотые (то есть боевые), а не серебряные, как у интендантов. Напоминаю, что после Сталинграда вся армия перешла на погоны.

Всю оставшуюся часть войны папа служил в Ленинграде (или неподалеку), все в той же морской авиации, иногда наведываясь в Москву. Наряду с газетными корреспонденциями он продолжал писать очерки и рассказы, а в 1944-м вышла его книга «Девять братьев» об эскадрилье летчиков. Войну Николай Корнеевич окончил с орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (книжки-то выходили!). Летом 1945 года, сразу после Победы, он был направлен в только что поверженный Берлин в качестве военного корреспондента, а послевоенной зимой я помню его уже без погон.

Теперь о Корнее Ивановиче.

Все лето и сентябрь 1941 года Корней Иванович и Мария Борисовна оставались в Переделкине. Лидия Корнеевна с дочкой Люшей, сыном Бобы Женей и няней Идой уехали в Чистополь с лагерем Московского Литфонда. Дед не планировал уезжать из столицы, так как не хотел отдаляться от Бобы, воевавшего под Москвой, да и от Николая Корнеевича, находившегося на Ленинградском фронте. Последнее письмо от Бобы было датировано 7 октября и прислано откуда-то из Подмоскovie (к сожалению, это оказалось письмо последнее во всех смыслах — больше писем от него уже не было). Однако 15 октября во время прорыва немцами Центрального фронта и массового бегства москвичей писателям подали поезд и повезли их в Ташкент. На вокзал на машине ГАЗ М-1 их повез Митрохин — шофер Корнея Ивановича. После этого машина исчезла, и

дед считал, что во время всеобщей паники ее забрал шофер. Вернувшись в Москву через год, Корней Иванович так и не нашел ее. Эта история имела продолжение. В 1959–1961 годах я работала в Московском институте вакцин и сывороток имени Мечникова, и там заведовал гаражом некий Митрохин. Однажды он подошел ко мне и сказал, что служил до войны у моего деда и отвез его на вокзал для эвакуации. Я не стала его спрашивать о судьбе машины, так как поняла, что он ни при чем.

Вскоре к Корнею Ивановичу в Ташкент приехали Лидия Корнеевна с детьми и няней. Недолгий, но яркий период жизни писателей в Ташкенте многократно описан в различных мемуарах (Лидии Чуковской об Анне Ахматовой, Надежды Мандельштам, Фаины Раневской, повестях Натальи Громовой и других). В Ташкенте дед написал свою новую сказку в стихах «Одолеем Бармалея!» о борьбе «хороших» зверей под командованием Айболита против негодяя Бармалея. Все гонорары за сказку он отдавал в Фонд обороны. Куски этого произведения есть в письме Корнея Ивановича к моему папе от 3 июля 1942 года.

В сентябре 1942-го дед приехал в Москву на целый месяц по издательским делам и встретился там с сыном, приехавшим туда на 3–4 дня после поездки в Пермь. Николай Корнеевич просил отца перетащить нас в Москву, считая, что опасности в столице уже нет (конечно, если сравнивать с окруженным Ленинградом!). При этом он надеялся на дачу в Переделкине как на возможное жилье для нас.

В начале 1943 года Корней Иванович с Марией Борисовной и внуком Женей вернулся в Москву насовсем и сразу же стал хлопотать о нашем вызове из Перми. Приехать в столицу без вызова было невозможно. 12 февраля вызов был послан. С пропиской все было так же, как и сейчас, но дед и это устроил (по тем временам он был достаточно «могучий» человек!), и 22 марта мы приехали в Москву и поселились у Корнея Ивановича. В переделкинской даче располагалась воинская часть.

Вкратце опишу наши приключения до соединения с Корнеем Ивановичем. В июне 1941 года мне было почти 16 лет. Я перешла в десятый класс. Как я уже писала, нас с Гулей привезли с дачи в Ленинград 27 июня, а не после отправки папы на фронт. Папу проводили 30-го. Приехав, я и моя подруга Галя Колпикова отправились в райком комсомола и заявили при входе, что просим дать нам задание, чтобы быть полезными Родине. Нас попросили подождать в зале. Там уже было много молодежи. Вскоре к нам вышла женщина и сказала, что лучший способ помочь Родине — немедленно уехать из Ленинграда, да еще захватить с собой кого-нибудь из младших. Город будут оборонять, сказала она, и чем меньше в нем останется людей, тем лучше для его защиты. А в тылу мы действительно будем нужны. Однако на другой день нас позвали в школу и предложили ходить по домам (недалеко от школы) и записывать детей, желающих уехать из города. Скорее всего, вступил в действие план, заготовленный заранее. Из родителей записывали только тех, кто может быть полезным в уходе за детьми — медицинских работников, поваров и тому подобное. Нам с Галей дали несколько домов. Мы ходили из квартиры в квартиру и записывали всех женщин и детей, желающих уехать. Им мы сообщали, что их будет ждать на такой-то платформе Московского вокзала такой-то номер поезда, такой-то вагон, и называли даже час отправления. Они действительно были отправлены, но в основном в Ленинградскую и смежные с ней области (все те же довоенные представления об опасности бомбежек больших городов и недопущения даже мысли об оккупации!) — конечно же, это был заготовленный ранее план, который, в отличие от плана моих родителей, перестраивать не стали. Вскоре под варварскими немецкими налетами детей стали возвращать в окружаемый врагом Ленинград. При

возвращении, например, из Старой Руссы погибла дочь соседей моей бабеньки Анечка Плимак, эвакуированная со своей школой. Кто бы мог предугадать, что ее папа, служивший поваром в своей части в окруженном Ленинграде, не дал бы ей умереть от голода!

Но пока, в первые дни июля, никто этого и предположить не мог. Вместе с группой писательских жен-энтузиасток моя мама занималась организацией эвакуации. Она готовила к выезду детей ленинградских писателей и целыми днями пропадала в Литфонде. Восемилетний Гулька болтался то с ней, то с Иникой и бабенькой, то еще где-то. Так что на наши сборы в эвакуацию времени почти не осталось... Помню, что ночью с 4 на 5 июля я вышивала на белых заплечных мешках для себя и Гули наши фамилии крупно, красными нитками (чтобы нас не потерять в случае чего). Такой мешок надо было загрузить пуховой подушкой, не только для того, чтобы взять ее с собой (как необходимую), но и в наивной надежде, что она защитит ее владельца от возможных осколков при бомбежке во время путешествия. Помню, как собирали вещи — выезд назначили на 5 июля. Вещей разрешили взять не более 30 килограммов, да и этого-то мы не взяли, так как сказано было, чтобы дети, в случае необходимости, сами бы могли тащить свои вещи. Помню, что взяли зимние пальто (мама — короткое полупальтишко), по подушке на спину, одеялу, паре обуви... Никакой посуды (о, как пригодился потом крошечный алюминиевый тазик, который мама ухитрилась запихнуть в свой чемодан!). Помню, как пришедшая к нам бабенька говорила мне, чтобы я брала преимущественно одежду для черной работы и что осенью мы наверняка вернемся. Под влиянием этих разговоров я оставила на спинке стула в прихожей свое новое нарядное (и одновременно теплое) вельветовое платье; взяла только новый летний поплиновый костюмчик, который служил мне потом зимой и летом четыре года.

Пятого июля 1941 года наш эшелон, набитый детьми и минимумом взрослых (только обслуга!) тронулся с Московского вокзала в направлении Ярославля, ехали 3–4 дня, много стояли, пропуская на запад бесчисленные воинские поезда. Привезли нас в городок Гаврилов-Ям Ярославской области. Разместили в странном кирпичном одноэтажном здании с бетонными полами — говорили, что это бывший монастырь. Совсем маленьких (ясельных) детей расположили отдельно в деревянном доме с садом.

Вначале мы — старшие подростки 14–16 лет — участвовали в обслуживании лагеря: девочки чистили бесконечную картошку, ухаживали за малышами, стирали; мальчики занимались дровами, водой, таскали тяжести. Постепенно в июле-августе в лагерь приехало много матерей; они взяли на себя часть забот по обслуживанию лагеря и, главное, разобрали своих детей по домам, сняв комнаты у местных жителей. Городок состоял из частных домиков с огородами. Нас, старших, стали посылать в окрестные колхозы. Мы пололи, стлали вымоченный лен по стерне, я даже жала серпом ботву цикория.

В сентябре поползли слухи, что под Ярославлем появляются фашистские десанты диверсантов; ввели по ночам затемнение. Городок понадобился для развертывания в тылу госпиталей приближающегося фронта. Нас решили вывезти вглубь страны. Переезд начался 10 сентября. В основном мы сидели на вещах и ждали очередного транспорта (телег, грузовиков, поездов, парохода); порой сутками — без еды. Помню, как, добравшись, наконец, до Ярославля под вечер, оказалось, что на ночь нас могут расположить в пустой школе на другой стороне притока Волги. Моста тогда там не было. Мы не ели со вчерашнего дня. Мне было поручено довести группу младших школьников до парома. Шли в сумерках, по грунтовой дороге, спускались по осыпающемуся берегу. Малыши несли свои вещички (самое необходимое — и то 3–4 килограмма). Я боялась,

что не дойдут, и тут мне пришло в голову запеть. Пели мы бравурные советские песни в ритме маршей: «Каховку», «По военной дороге...». Смотрю, малыши (а среди них был и мой брат Гуля) ожили, бодро дотопали до реки и ступили на доски парома. А там и школа недалеко, правда, оказавшаяся без всякой мебели (видно, школу готовили под госпиталь); расположились на полу. А еды-то нет! Ночью с женщинами мы, подростки, в качестве «тягла» отправились в булочную за хлебом; чтобы нас «отovarить», продавщицы вышли на работу. Не буду утомлять потомков, пожелавших прочитать эти строки, бесконечным описанием подобных историй.

В конце концов нас посадили на колесный пароход «Белинский» и повезли вниз по Волге, потом по Каме, до Перми. Все каюты захватили матери с детьми, полки 3-го и 4-го классов достались «безмамным» ребятишкам и матерям-обслуге, а нам, подросткам, достались полы на палубах (помню, как спала на палубе у входа на пароход и «через меня» бегали матросы). В Камском Устье (место слияния Волги и Камы; тогда еще не было гигантского водохранилища) наш пароход «на абордаж» взяли беженцы с Украины, так как Казань их уже не «принимала». Они — в основном женщины с детьми — расположились в трюме, на покато железном днище корабля. Еды у них не было, и я организовала наших подростков на обход «мамаш», получивших в Ярославле в дорогу неплохие «сухие» пайки. Собрали хлеба, покормили 2–3 раза. И вдруг из темного угла выползли два типа лет тридцати, небритые, с рюкзаками. Поманили меня в сторонку и с жутким «местечковым» акцентом спросили: «Скажите, а яичек у вас не найдется?» в уверенности, что мы еще и торгуем втихаря. Ребята чуть не сбросили их за борт («Вы почему здесь, а не на фронте?»), и типы соскользнули с парохода на первой же пристани.

Пароход привез нас в Пермь. Там нас погрузили в поезд (который больше стоял, чем ехал, как всегда) и выгрузили в деревне Черной, которая, вопреки названию, была вся белая от снега. Разместились в бывшей одноэтажной школе; дети — в классах, взрослые — по избам, а мы, подростки, в коридоре. Во время всего переезда мы, в основном, использовали как грузчики при бесконечных пересадках.

Осень в Черной была отвратительной — холодной и мокрой (а в это время Иника и бабенька благодарили Бога за то, что мы успели уехать из Ленинграда и были правы). В октябре в лагере началась вспышка скарлатины, в числе четырех заболевших был и Гуля. В деревне нашли избу, где жили пожилые супруги. Они были родителями председателя колхоза. Туда и поместили больных. А я, как в прошлом переболевшая, должна была за ними ухаживать. Во дворе прямо перед входом стоял нужник, без стен, но с крышей и дверью. В остальных дворах не было и этого (в лексиконе местных жителей не было даже слова «уборная»). Ходили в хлев и на природу. Навещавший нас старик — отец хозяина избы (дед председателя) — говорил, что, как придут немцы, все жители уйдут в горы, в леса, а нас оставят. Гуля впоследствии уверял меня, что дед грозил созданием коми-пермяцкой республики, независимой от русских. Часть бревенчатой стены в избе была оклеена газетами. Как-то вечером при свете свечи я прочитала в весенней довоенной газете (кажется, от середины июня) опровержение ТАСС, в котором говорилось, что некие империалистические круги распространяют слухи о стягивании германских войск к советской границе.

Раз навестившая нас мама сказала, что в наш дом в Ленинграде попала бомба. Я не удивилась и даже не расстроилась — кругом были сплошные потери, немцы подходили к Москве.

Между тем, лагерь налаживал жизнь. Мама была одним из самых энергичных работников. В Черной она ведала всем продуктовым хозяйством, но ника-

ких привилегий мы с Гулей не имели (дворянская честь — мама была из рода Новосильцовых). Где-то в ноябре старшеклассников из Черной переселили в Краснокамск. Это была советская новостройка — городок вокруг огромного бумажного комбината на Каме. Город был окружен болотистым лесом на много километров. От Краснокамска в Черную вела дорога — просека длиной 10 километров, проходима только зимой. И мы ходили в одиночку или по двое — не боялись. Ходили порой в темноте, туда и обратно — кто навещал младших сестренек и братишек, кто — друзей.

Расположили нас в бывшем ремесленном училище. Большой зал перегородили нестругаными досками на две половины — «м» и «ж». Пошли в школу, в третью смену. Городок был перегружен, так как туда эвакуировали Наркомат целлюлозной и бумажной промышленности из Москвы. Москвичи заняли только что построенные кирпичные многоэтажные дома, а рабочие бумкомбината так и остались жить во временных бараках. Те наши ребята, за которых не платили родители (100 рублей в месяц), ходили утром на работу — на бумкомбинат и эвакуированный из Москвы Гознак, остальные вели хозяйство на 38 человек. Я присоединилась позднее, к концу ноября (из-за ухода за scarлатинозными детьми в Черной), и пошла в десятый класс. Неработающие, в том числе и я, таскали воду (водопровода и канализации у нас не было). Мы подготавливали дрова, протирали полы, топили печки, готовили еду, мыли посуду. Дежурили парами — мальчик и девочка. Моей парой был Алеша Щеглов, впоследствии геолог, крупный ученый-академик. Морозы доходили до минус 40 градусов. Питание было ужасным. В декабре к нам перебралась мама в качестве директора нашего интерната, с Гулей. Они поселились в комнате, разделенной шкафами и занавеской. В другой половине была общая столовая. Мама часто убегала на почту в надежде получить весточку от отца. Стоило ей выбежать — мы бросали все дела и немедленно включали радиолу, сделанную руками одного из наших мальчиков (Юры Хомичука, впоследствии — конструктора телевизоров) и начинали танцевать под «Рио-Риту» или утесовскую «Корову». Да, и это было, хотя мы оставались голодными и плохо одетыми, а многие уже успели осиротеть. Некоторые ребята совсем не получали писем с фронта и из Ленинграда от родителей. О том, что там происходит, мы стали узнавать, начиная где-то с января.

В начале апреля 1942 года к нам приехали истощенные Иника и бабенька, у бабеньки (62 года) — сломанная рука в шине. Их немного подправили по дороге в госпитале (все в том же Гаврилов-Яме). В Краснокамске сняли (или им дали?) комнатку в деревянном бараке неподалеку. Иника устроилась работать библиотекарем в школу. Однако в июне они уехали в Сибирь — в Прокопьевск Кемеровской области, где Иника в 1930-е годы начинала свою педагогическую деятельность. Ее там еще помнили, помогли устроиться. Там было сытнее, обеим была работа, завели огород.

В конце мая я сдавала выпускные экзамены. Во время экзаменов в Краснокамске случилось ЧП — воры вскрыли стоящую на путях цистерну со спиртом и мгновенно распродали содержимое. Но это был не этиловый спирт, а технический — скорее всего, метиловый. Начались массовые отравления, остановились цеха, где преимущественно работали немногочисленные в городе мужчины. В нашей школе срочно оборудовали госпиталь. Меня и еще несколько «литфондовских» девочек как окончивших курсы Красного Креста направили на оказание помощи отравленным. И вот, под вечер, вошла я, 16-летняя, в свой класс, откуда были вынесены парты, а на полу сидели и лежали мужчины с мутными глазами... Дали шприц (один!) с иглой (единственной!), бутылочку с йодом, вату, ампулы со стрихнином, и я делала всем по очереди уколы под лопатку. Управилась к трем часам ночи — велели вымыть затоптанный и заплеванный пол в

коридоре. А на другой день — экзамен по математике (все три — алгебра, геометрия и тригонометрия вместе). Сдала. Аттестат был «отличный». В середине июня с подругой Лилей Гавриловой поехали в Пермь и подали документы в мединститут — отличные отметки аттестата не понадобились, так как всех принимали без экзаменов.

Еще в апреле до выпускных экзаменов мы проводили наших одноклассников, в том числе интернатских, в армию. Слава Богу, все они попали в училища, но некоторые все равно потом успели погибнуть. Так, погиб Вова Никитин (сводный брат актера Михаила Козакова) — весной 1943 года нарвался на мину, когда шел проститься со своей батареей перед отправкой на учебу в военную академию. Некоторые мальчишки, которые были пока в девятом классе и взятые на следующий год, тоже погибли, и тоже после училищ. Погиб на поле боя военный фельдшер Илюша Бражнин.

После окончания учебного года весь интернат (без десятиклассниц) отправили на хутор Журавли в 8–10 километрах от Черной работать в поле. Там жили в двух-трех новых недостроенных рубленых домах. Мы — девочки-десятиклассницы — задержались ненадолго в Краснокамске: проходили сестринскую практику в госпитале для привозимых туда раненых из фронтовых госпиталей.

В Журавлях я заболела чем-то кишечным, и меня отправили в лазарет в Черную. Поправившись (если мою худобу можно было назвать поправкой), я не вернулась в Журавли, а поселилась в деревне Даньки в семье Льва Успенского, стала работать в колхозе вместе с Лилей Гавриловой — племянницей его жены (а вскоре папа и Лев Васильевич встретятся в Ленинграде и проживут вместе зиму 1942–1943 годов). Работать было трудно не только из-за непривычки, но и из-за голода и холода. В августе по утрам уже были заморозки (Урал!). Колхозницы выходили на работу в валенках с галошами, в длинных плотных юбках и стеганых ватниках. Мы были в ситцевых (ветхих уже!) платтяцах и в лаптях на босу ногу с сеном. Занимались молотьбой. Отдыхали, когда отдыхали лошади, крутящие молотилку, или когда «отдыхал» мотор — как я ненавидела это механическое чудовище, работавшее без передыха по четыре часа! Во время перерыва бабы, усевшись под скирдами, пили молоко, ели шаньги — ватрушки с творогом и черемухой. Я, съев крошечную пайку хлеба с огурцом, забиралась в солому и читала «Консуэло». Зато вечером все женщины скорее бежали домой, а я отводила двух лошадей, едучи на одной из них верхом. Лошади понимали только матерные команды, но оказалось, что они отлично едут под мое громкое пение все тех же маршевых песен.

В октябре 1942 года мы с мамой и Гулей перебрались в Пермь — мама выхлопотала комнатку в кирпичном доме с удобствами в центре города. Уплотнили семью, где, впрочем, уже жила одна эвакуированная. Мы долго потом переписывались после отъезда с этой семьей.

В декабре мама съездила в Даньки и выцарапала в колхозе заработанные мною продукты — картошку (мы держали ее россыпью под столом), ржаную муку и овес в чешуйках. Остатки этого богатства мы увезли потом с собой в Москву.

Ее самоотверженная работа в лагере Литфонда, длившаяся более года, была замечена. Хотя мама и не вернулась после войны в Ленинград, ее работу там не забыли, и наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Как кавалеру этой медали в тяжелых 1990–1991 годах в Москве ей выдавали паек, для получения которого, впрочем, тоже надо было стоять в очередях.

Итак, с 22 марта 1943 года мы — мама, Гуля и я — живем у Корнея Ивановича с ним, бабенькой, Марией Борисовной и Женей. Дед устроил мне перевод в 1-й Мединститут (точнее, объединенные остатки четырех московских медин-

ституты, так и не эвакуированные). Пермский ректор почему-то не хотел меня отпускать, вмешался Корней Иванович. Москва была еще типичным прифронтовым городом. На Бульварном кольце лежали аэростаты, поднимавшиеся каждый вечер и тащившие за собой железные нити как охрану центра от вражеских налетов. Было полное затемнение с вечера. Часто по ночам завывали сирены, и мы спускались в убежище. Дед брал с собой только «Чукоккалу» — она еще не была издана. Многие московские дома были «законсервированы»: в них не было ни газа, ни отопления, топили «буржуйками» с трубами, выходящими в окна. Но дом Корнея Ивановича предназначался «для начальства» — на улице Горького, 6. Там даже горячая вода была. Квартира небольшая — кабинет, проходная «гостиная» с закутком, в которой спали Мария Борисовна, Женя и я (на диванах) и шестиметровая комнатенка, где расположились мама и Гуля. Продукты получали по карточкам в нескольких «распределителях» (магазинах, куда прикрепляли карточки по месту работы). Они находились в разных местах города. У Корнея Ивановича был «академический» паек и «лимитная книжка» вдобавок к рабочей карточке, но еды все равно не хватало. Впрочем, быть может, постоянный голод чувствовала только я одна (возраст!), так как на черном рынке и в открывшихся «коммерческих» (очень дорогих) магазинах семья не покупала ничего. Месячный паек по карточкам был разделен на талоны, выкупать по которым надо было в короткий срок (который внезапно объявляли): не выкупишь за неделю — и пропало. И за всем были очереди. Главным «снабженцем» была я. Мама немедленно включилась в общественную работу и стала председателем Совета жен писателей-фронтовиков.

Осенью 1943 года военные освободили дачу в Переделкине. Мы с Женей поехали туда, получив предварительно специальный пропуск. Дача была пуста. Потом Корней Иванович и Мария Борисовна разыскали часть мебели в домах соседской obsługi. Везде был разбросан мусор, но на полу в кабинете деда валялись тома «Краткого курса истории ВКП(б)». Мне требовалась эта книга для занятий в институте (специальный экзамен!), а у Корнея Ивановича ее не было. Не знаю почему, но дачу «обжили» только в 1945 году.

В июле 1943-го меня со всеми студентками моего курса отправили на трудовой фронт на два с половиной месяца (как оказалось — на все три). Мы строили насыпь для железной дороги, требующейся для вывоза бревен из Егорьевского района в Москву через дремучий лес. Условия были, как описывал Некрасов, — лопаты и носилки. Но дорога эта есть на карте. Летом 1944 года все повторилось — только уже в Ярославской области, в Пошехоно-Володарском районе (да, такое название!), где мы валили лес. Условия были ужасные — голод, отсутствие необходимой обуви и одежды, все те же лапти, тяжелейший неженский труд... Но Корней Иванович сообщает в своих письмах сыну, что «Тата пишет из деревни веселые письма». Держались, как могли, старались не огорчать друг друга.

Между тем жить в тесноте на улице Горького стало нелегко. В ноябре 1943-го вернулись из Ташкента Лидия Корнеевна с Люшей и тоже поселились у Корнея Ивановича (не ехать же в голодный Ленинград!). Они обустроились в шестиметровой комнатенке при кухне, а во второй комнате жили Мария Борисовна и я с Женей. Осенью 1943 года мама сняла комнату для себя и Гули на 5-й Тверской-Ямской, а я пока осталась у деда. Перевод отца в Москву, о чем «хлопотал» Корней Иванович, не состоялся — папа этого не хотел. Он остается в Новой Ладоге, часто посещая Ленинград. В декабре 1943 года мама с Гулей переехали в другую комнату на Арбате, в огромную коммунальную квартиру. Комнату им сдала Наталья Никитична Муратова, тетя Марии Тарасенковой (писательницы и жены Анатолия Тарасенкова). А комнату на 5-й Тверской-Ямской снял для своих приездов в Москву Лев Успенский.

В конце декабря 1943 года родился мой брат Митя. Папа приехал в Москву к этому событию. Под Новый 1944 год мы с ним и Гулей забрали маму и Митю из родильного дома имени Грауэрмана. Он весил 2800 граммов, и я несла домой этот легкий «пакетик».

Как гром с ясного неба в «Правде» за 1 марта 1944 года появился огромный «подвал» — статья «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского» некоего П. Юдина. Это был разгром сказки Корнея Ивановича «Одолеем Бармалея!», а заодно и разгром всего творчества деда. Он был объявлен «буржуазным» писателем. Статья, как теперь говорят, имела «явно заказной характер». Корней Иванович слег, мы по очереди читали ему, чтобы отвлечь, успокоить. «Я пройду весь ритуал, как провинившийся, — сказал он. — Но ведь у меня еще и пайки отнимут». А он кормил большую семью! Отняли не все пайки, только, кажется, самый ценный. А вот подготовленного «Чехова» печатать не стали. И вообще все заработки прекратились.

Я же решила попытаться счастья — получить место в студенческом общежитии. На заседании профкома мое заявление вызвало шквал возмущения: «И ей-то плохо в роскошном теплом корпусе Б?» Так назывался дом 6 по улице Горького, построенный перед войной и заселенный «знатными» людьми (любимое выражение тогдашней печати). О статье в «Правде» студенты и понятия не имели. Ребята не понимали, что такое «опальный» писатель. И вообще не понимали, что известный писатель — это не куча денег, барахла, блата и невероятных возможностей. Во всяком случае, это не про Корнея Ивановича. И всю жизнь я наталкивалась потом на такое представление о моем родстве с ним.

Вернемся к дому, к корпусу Б. Именно в нем заключалась загадка попадания моего деда в «высшую» немилость. В этом же доме жил художник Васильев, специализировавшийся на портретах Ленина. Он заходил к Корнею Ивановичу, показывал свои рисунки. А Мария Борисовна поддерживала чисто соседскую дружбу с его женой (одалживали друг другу посуду и еще что-то по хозяйству). Как-то дед мне сказал, что к нему приходил Васильев, показывал новые работы. По поводу рисунка, где Ленин мило беседует со Сталиным в Разливе, Корней Иванович сказал, что он-то помнит: Ленин не больно жаловал Сталина. Этот рассказ я слышала от него собственными ушами (по другой версии, дед якобы заявил, что в Разлив к Ленину приезжал не Сталин, а Зиновьев. Может, говорил и так, но не мне). Васильев донес «куда следует». По тем временам Корней Иванович легко отделался. И висят теперь две мемориальные доски по обеим сторонам арки входа в дом 6 по Тверской: одна — писателю Корнею Чуковскому, другая — художнику Васильеву, и смотрят друг на друга. Кстати, доску Корнею Ивановичу повесили позже доски Васильеву, только в перестройку. До этого, хотя бы частично, действовала опала. Васильев потом приходил к нему объясняться, что подробно описано в дневниках деда.

Летом 1944 года мама с Митей и Гулей жили в Переделкине, но еще не на даче Корнея Ивановича. Осенью, вернувшись с почти трехмесячного трудфронта (валили лес), я поселилась в Брюсовом переулке, снимала угол у девочки-десятиклассницы (в коммунальной квартире, где тогда жила семья Василия Гроссмана). Плата была непростая. Каждый месяц (с ноября) надо было доставать кубометр дров для отопления комнаты. Каким образом доставать эти дрова, я себе не представляла. На первый месяц девочки — студентки из обеспеченных московских семей (папы — большие начальники) собрали мне ордера, которые давали в домах без центрального отопления, на 1 кубометр дров, и я перевозила их по бревнышку на саночках с дровяного склада (где-то на Красной Пресне). Везла по проезжей части московских улиц по тающему снегу, благо его убирали далеко не полностью. А на второй месяц (декабрь) мне помог папа одной из

студенток. Он был старый офицер-кавалерист, еще со времен Гражданской войны, а сейчас, в звании, кажется, подполковника, занимал должность начальника военного дровяного склада. И вот, я еду по Москве, сидя на кубометре дров, лежащих в санях, а рядом шагает возчик, погоняя лошадь. У метро «Парк культуры», где линия трамвая почти сливается с тротуаром, лошадь вдруг круто завернула на рельсы прямо под едущий трамвай. Я помню только искаженное страхом лицо женщины-вагоновожатой. Далее я упала и, вероятно, потеряла сознание, потому что помню себя уже сидящей на краю тротуара. Трамвая нет, дров тоже нет, их уже растащили жители, а деревянные обломки саней еще добирают. Я сижу, ушибленная и перепачканная, и не знаю, что делать. А далее, как в сказке: снова появляется тот же возчик, с лошадью и с санями, полными дров. Такие вот возможности были у начальника военного склада. Я сажусь на воз, и мы благополучно въезжаем во двор, где перед входом на мою лестницу возчик сбрасывает кубометр. Затащить их на второй этаж не составило проблем для двух девчонок. Вскоре в Москву на несколько дней приехал мой папа. Узнав о моих проблемах с жильем, он стал мне присылать ежемесячно 400 рублей (не знаю, что у него, старшего лейтенанта, оставалось: ведь маме за комнату он посылал каждый месяц 1000 рублей). Но иметь деньги и купить на них дрова — совершенно разные вещи. И я научилась ходить на подъездные пути к Киевскому вокзалу и «заказывать» кубометр дров шоферам, развозящим эти дрова на грузовиках с поездов по разным направлениям города, вынужденно сделавшись соучастником воровства.

Снимала я углы еще не один раз, вплоть до переезда в построенную моими родителями арбатскую квартиру, то есть до лета 1947 года. В последнюю военную зиму отец стал чаще приезжать с фронта в Москву, они с Корнеем Ивановичем чаще виделись, и переписка сделалась реже. Папа с семьей после войны поселился в Москве — отец и сын уже часто встречались и писали письма друг другу только при редких разлуках...